

ПОКОЛЕНИЕ

выпуск двадцать восьмой



книжное обозрение



В начале XXI века в поэзию вошло новое поколение. После нескольких альманахов и антологий этот книжный проект впервые представляет читателю самых ярких его авторов.

Виталий Пуханов
Клуб «Дебют»

Дмитрий Кузьмин
Издательство «АРГО-РИСК»

Илья Баранов
дизайн серии

Алексей Порвин

ТЕМНОТА БЕЛА

2009

ББК 84.Р7 – 5

П 59

Алексей Порвин. Темнота бела: *Первая книга стихов.* – М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2009. – 64 с. – Серия «Поколение», вып.28.

Алексей Порвин (р. 1982) живёт в Санкт-Петербурге. Публиковал стихи в журналах «Волга», «Воздух», «Нева», интернет-проектах «Полутона», «TextOnly», «Новая Камера хранения».

ISBN 5-86856-185-6

ББК 84.Р7



В слёзоньках мусор, а кто нам
мусором слёзным велит становиться, стоять
по не-законам?

Смаргивай нас грамм за граммом.
Пламячко дует в глаза — и слезится «нельзя»:
кто нам — никто, а?

В плошке от жидкой лампадки
кусаным блеском прилечь без оглядки дверной:
кто там с законом?

Слёзным захлёбом — за хлебом.
Кто бы ты ни — нас прозрачным шаром породи;
в нас не тони.

ЭТА РАДОСТЬ — ВТОРАЯ



Кто ни зажимал тебя, свирель, пытая
полостью твоей Господний мягкий слух,
обволакивая, словно вещь простая
вещь несложную в закон схождения двух?

Ты — челнок, везущий душу в звук везучий.
Сироте грядёт отмена сироты —
приговор светлейшего из всех трезвучий
золотит умы и рты.

Сядем, на двоих разложим голос, слово —
так, что и не скажешь, где тут чьё и чей.
Друг на друга глядя, подождём другого
сироту простых вещей.



В рождение завёрнутая посылка —
крючки из поллой кости для вязки лыка
и малый райский для тренировок рожон
любви — полез и тут же собой заражён.

Шуршу бумажным, режу сургуч на части.
Я ждал, признаться, тонкой невидной снасти,
крючок в губу, в гортань — подсекли, повели,
в ладони взяв на солнечной чистой мели, —

но нет. На языке заплетаю лапти,
плетусь, даруя новое место карте,
обёртке то есть ящика — крестик труда,
отметку о прибытии ставлю туда.



Против часовой вывинчивает свет
зрелость, став повыше на низкий табурет,
будто в детстве, чтобы прочитать стишок
папе — он с работы подвыпивший пришёл.

Оборот спиральный, взгляд под потолок —
там в углу двукрылый на мысль твою прилёт,
стережёт движенье по одной оси.
Вот тебе печенье. Не хныкай, не проси.

Оттолкнёшь опору, воздуху отдав
воздух, и в полёте отец подхватит — «да»
вряд ли прозвучит — отцовская рука
свет вернёт на место, ввернёт его пока.



Чего твой внутренний взор достиг —
направо и чуть пониже гордости
ангел торгует игрушечным барахлом.

В развалах рынка стрекозьего
над каждым камнем крик мамы «брось его» —
брошу, как мама, — окажется он отцом?

Солдатик, в угол поставленный,
в душе увидевший вдруг состав длины
тени от тела — о, Господи, это я?

Пластинка в белых царапинах —
ты не показывай только папе, на,
быстро затри их. Никак? Что же делать, а?

В стекляшках — краски для слёз, но я
иду всё дальше. Смотрю на грозное
варево юности с ангельским «Я люблю».

Толкай вещицы, не всхлипывай.
С медведем заспанным мы пошли — бывай,
мни под полой вместо денег трухлявый плюш.



Прошлая зима здесь. Где?
Небо тычет в облачный палец
мальчика в седой слюде
(мальчик сам испуганно-палев).

Но уже анализ взят.
Струйка птиц, забрызгав стекляшку
неба, прилетит назад,
выдав на уроке поблажку.

Прошлая зима там, но
страха нет чего-то бояться —
стояли в темным-темно
тени от пресветлого пальца.

Звёздная зима, случись.
Чтоб тебя потом отворяя
небо видело: я чист.
Только эта радость — вторая.



До горла птицы не доходит тень,
во рту застряв,
где жив пока отец, и длится день
среди стволов и трав.

Там муть реки и удочка в руке.
Шуршит пакет
хвостами рыб, оставивших в реке
последний всплеск и свет.

Пока у птицы рот открыт, всё есть;
но стоит вдруг
его закрыть — настанет мрак, как месть
за всё, чем был испуг.

Испуг был всем: водой, отцом, крючком.
Он не был мной.
Я стану птичьим ртом, чтоб ни о ком
твердить молчащей тьмой.

И окончанье песни, как крючок
щекочет рот.
Возьми его, о птица, в свой молчок,
как рыба в свой — берёт.



Птица ходит по крыше чердака,
доски трогает, будто бы рука:
стук да стук — дайте мне постучать,
согреться, зачать.

Чем чревата ладонь, когда в тепле
перья пальцев и пульса клюв — в тебе?
Кровью, верно, размером с полёт
в оттаявший год?

Звук и есть моя кровь, мой плод — зачат:
это я там на крыше, это рад
выбор мой так стучаться к тебе,
к моей не судьбе.



И птицы — теплокровные части высоты,
круги сердцебиений её здесь, внизу.
Немногие деревья не перейти на ты
решились, как немногие сердца в глазу

без стука переходят во взгляда доброту:
сердечность птичья в крыльях, а ты? Где твоя?
Посмертной пустотой она прорастёт во рту,
ну а при жизни? Взгляд её дом, там, где я.

Ты — дерево, ты — птица, вспорхнувшая на взгляд —
ветвящийся из сердца растёт без корней.
Как дом растёт из крыши, где крыльями лучат
по крови, по источнику её, верней.



Боже царя облачён в парчу,
в негу, в движение слова «хочу»;
утром он милован и прощён,
вечером — разоблачён.

От государственных царь бумаг
к Боже приходит, всевластен и наг,
часть его тела затенена
духом, как в окнах — стена.

Ночью, когда повелитель спит,
Боже в окно наблюдает гранит —
кажется, или же вправду — рост
камня ночами так прост?

Правду подскажет негласный счёт?
Тьма возрастает и камень растёт,
дух затеняя, как дважды два —
право на правды слова.

Царь просыпается, просит счёт
времени, что прямо в звёзды течёт,
Боже не знает, как посчитать
то, чему вечно бывать?

Сердится царь, это говоря,
гонит подальше он Боже царя,
думает, в правду вращёт гранит —
нужен мне Боже храни?

Боже храни царю не найти —
тот расчищает для правды пути,
улицы моет, сметает пыль,
камешки, мусор и гниль.

Боже храни просто идиот —
царь его кличет, а он не идёт,
фартук его есть пречистый дух —
к пыли и мусору глух.



С листиков слизывать вдохом
воздух берёзовый, взбитый
веточной дрожью о многом.
Ветошью дружной увитый,
сад показался мне Богом.

Воздухотворный участок
мира, невкусного лёгким,
шелест зелёного яства.
Трепет, не давшийся многим,
где твоя верная паства?

Я здесь один, и ограды
не разглядеть под листвою —
есть ли они? Ведь когда-то
сад этот будет со мною
ближе супруга и брата.

Ведать предел этот надо
прежде — глазам, но дыханье
с небом и так уже рядом.
С близкого же расстоянья
Бог показался мне садом.



Как тыходишь в сталь, даже не глядя на
ушко той иглы, что стала осью земной,
раздвигая блеск? Господи, ледяна,
бела Твоя поступь, как смотрящий за мной
мой архангел сна, льющий сукно трубой.

Меня справишь, да? Знаю я, чей кафтан —
и дети приходят в сон, а выше — зима:
неодетым не выстоять, даже там,
где пух и перо летят, где греет сама
голова Твоя, шаром светясь нутра.

Потому покрой — белый, как мой покров,
на душах любых слова мои застегнёшь,
где надежда им станет — и хлеб и кров.
Какходишь Ты в сталь, сюда не глядя войдёшь.



Поднимаешь к солнцу ладонь
разглядеть, понять на просвет
вещество под кожей руки
и назвать его, и назвать.

Но язык не помнит имён —
если слово есть, то — в глазах:
ну а им — удерживать свет,
собирать по капле тепло.

Так отец тебя поднимал
невесомо, словно ладонь:
он искал слова, чтоб назвать
розовевшее вещество.

Но язык не помнит имён —
если слово есть, то — в глазах:
но они — безмолвны от слёз,
отвечавших дрожью на свет.

ТЕМНОТА БЕЛА





ГРИГОРИЮ ДАШЕВСКОМУ

Кто слово протянет, возьмёт метель
за край слепящего ремесла:
в него тело всякой любви одеть,
как в душу стелющей белизны.

Приди в ожидание, как в себя
пришёл предшественник всяких слов,
собрал по снежинке свой чистый рот,
и вот он — с неба идёт к тебе.

Одетый в умение быть для всех,
для слов твоих достигаем, как
не жди меня завтра, но я приду,
не жди меня, но я стану быть.

Ты снегу в ответ перестань молчать:
лишь у того, кто вот так идёт
одеждой любви по твоим глазам,
в закрытом рту — темнота бела.



Взгляд из окна набирает предметы,
словно буквы, в досрочное отчество:
произнеси его, только без имени,
в облачный слух вознеси.

Тем, что в тебе только так называться
выбирает, останься, оставшийся
в дне ожидания, в дне безымянности,
ставшей листвой за окном.

Мир называться по батюшке станет,
и ему полегчает со временем:
срок ли не вышел безродного прозвища
или листва шелестит?

Медленно к небу глаза поднимаешь —
эта точка в означенном имени
снова себя начинает отыскивать
в павшей на землю листве.



Даже в людях война видит стены:
потому эта резкость движений
желает скорее сломать
тесноту своего полуимени.

Даже в людях не чувствуя дома,
она ищет простор, чтоб согреться:
отделаться от этажей,
от широкой и взвинченной лестницы.

Чтоб нельзя ни взойти, ни спуститься,
чтобы только — постройки простора,
без дерева и кирпича
и без голоса в каменной кладке.

А по крыше идущие птицы
никому говорят втихомолку:
желает война — пусть желает,
её воля — не более трещины.



Снова встанет на углу тебя
бабушка с замёрзшими прутами:
вербной славе не прекословь.

Вон, в морозе вымочен, свистит
вымученный мох тебе — постой-ка,
что-нибудь подставь под удар.

Можно — детство, лучше — слух, давай,
вспыхнет полоса твоей дорогой,
ты по ней пойдёшь далеко.

Дальше, чем замёрзнуть. На углу
бабушка замёрзшими руками
славит вербы слово и власть.



Поднявшись на цыпочки — так, что макушка
по гладкому своду скользит высоты,
идут голоса, и душа обступает,
смыкается вверх уходящей стеной.

Всё уже и уже — и, словно колодец,
для ощупи скользок и продолговат,
твой выбор, отвесный и разноголосый,
вбирает нечёткое эхо тебя.

Ты чувствуешь дно замирающим плеском,
в тебе отражается чьё-то лицо;
склонился и смотрит в колодец ребёнок —
как он, ты останься тишайшей водой.

Он встал за спиной ожидания чуда —
оно говорит, говорит вразнобой,
и страхом, ослабившим детскую руку,
в спокойную воду роняет ведро.



Сияющий час изъят окном,
ложится отсветом на лицо;
всхолмлѐнный волнами ровный гул,
держась за слух, идёт.

Где время не от земли отлечь
стремилось, а от морской воды,
там ждут ответа — когда взойдѣт
на нѣбо ровный гул.

Но есть и у слуха свой предел —
он до небес не продлится, и
хватаясь брызгами за ничто,
гул падает в окно.

А в комнате где-то спит болезнь,
но в час сияния тёплых волн
и человеку не нужен день —
лишь от земли отлечь.



Полк покидает наши места,
медлит у выхода под обстрел;
все, как один, глядят на неё —
падалицы полный подол.

Девочка в тёплой дорожной пыли,
и до тебя дотянулся сад
оторопевшим, твёрдым плодом,
стукнувшимся в сырость земли.

Завтра твой сад дотянется до
этих солдат, он вращёт в тебя,
схватит корнями землю в груди,
чтобы навсегда удержать.

Лишь с высоты, которой здесь нет,
можно сказать, посмотрев на всё:
как же разросся, как покрупнел
от жары сгорающий сад.



В обитель умыслов не вхожи
слова, не значащие нас;
не отправляй словарь на небо —
оно сгорит.

Кто говорит со мной о смысле,
когда язык, обжитый вскользь,
есть пламя, стиснутое нишей
не наших фраз?

Теснятся искры, но не выйти, —
здесь дверь — вода, и нет окна;
они уходят в угасанье
и там живут.

Везде им тесно, так оставь же
словарь мерцать и трепетать:
смотри в огонь — так замышляют
вглядеться в свет.



У предметов срезано осязание
и растёрто в пыль, что покрыла их,
и, тебя коснувшись, молчит материя:
содрогнуться нечем и онеметь.

Но ведь слух — остался? И слышит стёклами,
напряжённый блеском, старик сервант,
как встаёшь и снова ложишься заживо
под ладонь бесчувственных одеял.

Как сидишь над книгами, ждёшь касания
тех вещей, что помнят слегка тебя,
и тебя — не чутким воспримут временем,
а его отсутствием и теплом.

Потому бесчувствия не пугаешься:
у тебя есть чувство — ты просто ждёшь:
или полной грудью вдохнул присутствие
и с обложки ветхой сдуваешь пыль.

УШНОЕ ДРЕВО

Второе Подражание Американцам

Тёплым дымком от людских жилищ
заточен в терновнике каждый шип;
ящик почтовый творит письмом
устойчивый остов.

Кофе сбегает, шипя вещам:
молчите и не заступайтесь за.
Дверь, что творишь — совершай скорей,
кончается полночь.

Книги, стаканы, ножи, ключи
собрались на высышейся горе
и говорят — мы не можем зреть
бредущее пламя.

Чуть нас коснётся — нам всем конец.
Пускай завершается прямо здесь.
Мы же вернёмся в свои дома —
служить человеку.



Мне было трудно дышать
под неявной водой:
пробуждение было готово
ко всплытию на поцелуе —

я — не был. Слипшийся сон,
дотянись до руки,
поднимающей душу на воздух:
из нас — ты один не задрал;

до губ моих дотянись.
До поднятия век
моё сердце негаданным вдохом
собой распахни, уходя.

Когда дотянешься, жди:
ты исчезнешь, не я,
а внизу, вместо нужной опоры,
ответно — чуть скрипнет вода.



Монетку со дна ведра,
полного холодной водой, —
и локоть немеет так,
словно отлёжан во сне.

Кто первый её доста-
нет, рубашку не замочив:
такая была игра —
и допоздна не уснуть.

Лежи и сияй во тьме;
кто-то тянет руку к тебе
откуда-то сквозь слезу:
влажен шуршащий рукав.

Кто вытащит тихий блеск?
Темнотой налит дополна,
лежи — ты пока во сне
холодом не занемел.



Расстояние до тебя
в слова и дела,
словно в шарик воздушный, дуть,

набирать через резкий вдох,
похожий на всхлип;
пробуждая свободу в грудь.

Как растёт повседневный быт,
растянутый мной:
вдруг — огромным предстанет, и

он окажется лишь — хлопком,
в руке — лоскутком,
тонкой ниточкой от Ничто.

Но кончается — (где же вдох? —
и выдохнуть нет!)
— расстояние до тебя.

Замирающим вдохом я
смотрю на тебя:
звонкий шар улетает вверх.



Илье Кукулину

Не подлежать замене на свет —
это и значит быть,
трогать в себе растущую тень
чьим-то чужим лучом.

Трогать её, раскладывая на
качества полутьмы,
и между ними выбрать себя
именем для живых.

Только не выйдет спрятаться от
лучшей из всех замен:
тени тревожить блеском имён —
это и значит луч.



Заточено дорожными камнями,
повисло невнимание над всем.
Отсечь, отсечь и не смотреть.

Что пройдено — лежит, зовёт пощаду;
пощада подбирает камень, чтоб
водить точилом по душе.

Ты не страшись назвать усекновеньем
движение, похожее на взмах:
иных имён не будет, нет.

И нет иных движений, кроме этих,
и кроме лба, нет прочих лобных мест:
что за народ собрался там?

Галдит и бьёт по воздуху, не зная —
помиловать ли, ведь чуть-чуть — и всё:
в ладони дрогнет острота.



Победа щурится, не смотрит на тебя:
ты — повелитель, мог ли знать,
что кто-то ей горстями пыль бросал в лицо,
чтоб отвернулась от тебя.

Чтоб ты, не виден никому, стоял один.
Войско уснуло на весах,
не ведая, что чаши больше нет. И ты
сном посмотри в свою ладонь.

В пылинке свод вздетых рук безмерен, он
кажется небом, и на нём —
растёрта чаша в пыль, молчит мерило о
всём, что содеяно тобой.

У справедливости в руках нет ничего.
Глянь же в её ладони — в них
та чистота, когда стряхнули пыль, и там
блеск безутешен, словно плач.



Вбиранием смутных ветвей
ветер завершает себя;
возьмётся ли что-то во мне
ветви запоминать?

Ведь ветер не справился — здесь
камни, воздух, даже кусты
остались — всему не уйти,
что присутствует в них.

Возьмётся ли осень меня
помнить? Что останется в ней,
способное запоминать?
Ветер, ветви верни.

Продолжись, и всё здесь оставь —
я тебя запомню таким:
отдавшим, оставшимся о
дне последних ветвей.



Und alles schwieg...

R. M. Rilke

Райнер, ушное древо
задушено длинным телом
скрипа от их подмёток,
мёда в цветах не сыщешь.

Слышишь, в лесу шипенье
разносится языками
узкими? Видишь кольца
в мелких чешуйках речи?

Дышат одним тобою.
Исчезни, пусть ртом хватают
правильное удушье;
сами пускай подышат.

Хватка тогда ослабнет,
и в древе очнутся соки;
в листьях твоих воскреснут
верные звери.

ГДЕ СВЯЗЬ



Во-первых, встань.
В-холодных, мел не тает.

Меточкой недогрева
встань на белом углу,
сквозняку где-то слева
отвечая углу.

Всё согласия ищет
твоего — и сквозняк:
тёплой будь ему пищей,
Божья, Божья возня.

Певчее копошеньё
чёртовых суматох,
обозначь подношеньё
зимних мнительных крох.

Вот, означь: не хватает
гретых ангельских тел,
и в холодных — не тает
протестующий мел.



Нужное ничто засекают, согрев
заповедь терпения дождевой
не-бедой, струящейся жизнь-травой,
говорить «я твой».

Ересь кожи, пальцев холодный блеф —
нерушимо тихнут в такой воде,
вера обретается здесь/нигде,
говорит «те-те».

Пальцем стариковским тебе грозит:
без меня не будь, не ходи, не смей,
жизнь-трава, я знаю, таких кровей,
но тебе видней.

Но тебе — ничто засекают, где вид
жизни прорастает, в руках струясь,
но тебе — на небо оборотясь,
разглядеть, где связь.

Из цикла «Кто верит»

смотри, кто над теченьем свод
удерживает и несёт
горенье бега

Фитилёк? Нет, мальчик скользящий
внутри у огня,
всё дурное тихо *нельзящий*,
не злящий дня.

Он закопан в тягость свечную,
и лишь голова
полыхает, смерти минуя
дела, слова.

Обездвижен, он убегает
в тепла глубину,
где и злобы дня не бывает,
и счастья — сну.

Теплота узнаёт, свивая
мальчишеский рост,
что свеча есть тёплая свая
и свет есть мост.

Не глазное дно, а побережье
размыто от слёз,
всё в следах сияющей бреши
его волос.

*всё — в следах сияющей бреши
его волос.*

Качели

Ветром лицо взято.
Лишь ситцевое «прости»
до небесной самости
смято.

Любушка, где тело
движений в любовный мир?
На дощечке оными
село:

оним теплом, или
прощением — во местá:
не уместишь возраста
в силе.

В силе взлетать выше
неслышного мне «прости»,
скрип небесной нервности
слыша.

Опаска излечиться от нации дотла
на храмовые маковки сродницей легла
обмокшим в жирнозёме чужой крови слушком,
а прежде — уходила спешащим чужаком.

Повальной стигмой мешеный мрамор языка
застыл до нас — расправами, буйными слегка:
прожилку не распробовать, ум не отколов
от камня стен, исправленных под трещащий лоб.

Обглодок, ненавидящий сдельный говор муз,
тахикардия-крестница, краденый укус —
вы все мне равно дóроги, если вы вдали.
Сейчас на храм разнизанный, как туман, легли.

Охват масляно-лаковой шеи мертвеца
таков, что хватит слова для шейного кольца —
нанижем бусы заново и себя прочтём,
воскреснет он, и снова — всё станет нипочём.

Здоровым быть от нации страшно не совсем,
а мне, привыкнув к новому, и остаться б кем.
Поститься, слизь туманная, не могу тобой.
Останься, слово правды, лекарственной судьбой.



Продольный свет, как срез, блестит,
сочится внутренним теплом:
припавший рот, вбери нутро у чёрно-белой

шумящей вертикали — в ней
движение земли наверх
есть знак весенний.

Складная острота в руке
вскрывает кожистый покров
с единственного дерева, в котором целы

те буквы земляных слогов,
что вмёрзли в корни — но дошла
до них согретость.

Глотком не утолить себя —
подвязывай стекляшку под
текущий алфавит, и жди, когда до края

наполнится, теперь — смотри:
стекляшка есть душа, и в ней —
тепло до верха.



Не свет от фонарей, а другая дорога
ложится на мрачный асфальт,
и знанием себя под ногой золотится,
от жизни на чудо отстав.

Так ярко светит, что заполняет полнеба:
так время питает звезду,
идущую под солнцами прочь по дороге,
не знавшей начала себя.

И свет восходит к лампам фонарным, и верит,
что вышел из них, наступив,
как светлая дорога над всяким идущим,
узнавшим, как чудо, себя.

Но фонари свой свет не вбирают обратно,
ему — под ногами густеть,
искать начало в каждом идущем и верить
в звезду или в отблеск себя.



Именем Райнера заклятый насмешник мой,
стань для жизни печной трубой,
ты ведь внутри пустой, обложенный кирпичом:
может, птица гнездо совьёт?

Я развожу огонь из старых тетрадных нот,
снов, записанных кем-то для
тех, кто сумеет длиться чтением, верить в знак:
это, верно, уже не я.

Вот тебе копать вместо той пустоты внутри,
что впускает в себя грозу
только отчасти, лишь ветреным гулом, где
птица помнит свой путь едва.

Но над тобой — произнесённый спаситель мой:
ты теперь обездвижен, как
птичий покой, когда упала в трубу, заснув,
птица из твоего гнезда.



Прекословь ослице, везущей воду реки,
противься закрытием глаз,
но вода — сама есть молчание о тебе,
зовущем течение быть.

Не читай слова от копыт, вбивающих пыль
в истоптанный памятный грунт:
говорит животное — «будь», но ты — разбери
по буквам свою глубину.

В темноту шагнёшь и замрёшь под веками, где
устойчива твёрдая тьма,
так внутри сосуда не дрогнет плеск о тебе
теплом от согретога дня.

Только миг — а ты уже слово в слово идёшь
гортанью по чистой воде:
до реки недолго — не дольше памяти о
натруженной тёплой спине.

НАУКА ДВИЖЕНИЯ ВОЛН



Рекой теменной, впадающей в море меня,
становятся небо и свет,
водой именной.

В растущие волны входят предметы, стоят,
смывая остатки себя,
и трогают рыб.

Рукой меловой по карте, учитель, веди:
пусть знание вод снизойдёт
к моей голове.

Запомню волну, растущую в рыбьей груди,
и холод извилистых тел,
всплывающих жить.

Рекой меловой на солнце веди и смотри:
наука движения волн
блестит в голове.



Прошу — покажи мне душу,
и вижу в просвет
движение от известного и обратно,
одетое в память свою.

А было всё то, что — дальше
далёкого нам:
в движении этом есть сердцевина — или
известное лишь никому.

Оно — как способность силы
себя оттолкнуть
от воздуха — взмахом, данным, как память — пальцам
о видимом и о душе.

Отталкивай тяжесть истин;
движения нет
иного, чем те порывы — тебя не помнить,
чем правда движений к тебе.



Весенней площадью неуязвим и цел,
как высота, единым взмахом взят,
он катится мячом под лапы голубей;
пусты ворота, и победа — вот.

Чью сторону принять? Борьба равна себе.
Здесь всякий проиграл, кто воздух бьёт
и силой гонит вверх, в ту сетку на столбе,
что так бела и беззащитна так.

Куда же, голуби, вы катите мой мяч?
Не в ту игру он ныне вовлечён;
крылатым ведомо, как тяжек перевес:
возьмёт — и не отпустит от земли.

Сейчас он падает мне в руки, я ловлю;
сыграем заново — подбросим вверх
и вновь поймаем, и прижмём к себе, забыв
про цель игры, как дети во дворе.



Это опять по вёслам стекает вода,
сгущаясь в темноту закрытых глаз:
лодка плывёт, врезаюсь в потёмки волны —
внезапно, словно луч.

До берегов — просторы ничьей темноты.
Отец на вёслах, говорит — держись;
я обернусь на голос, но лодка пуста:
меня в ней тоже нет.

Лодка несёт отсутствие наше туда,
где храбрость не спасёт, и силы рук
хватит едва сдержать противленья себе,
шумящее рекой.

Даже глаза открыв, я увижу прилив,
услышу голос, обернусь на луч.
Лодка меня не выпустит, в берег толкнув
отсутствием судьбы.



Стану слушать, себе дивясь:
кому голоса даны?
Жизнь по-прежнему говорит
на ломаном пятаке.

Ставит буквы, как оттиск — вглубь,
никак их нельзя прочесть,
лишь в единственной темноте,
уткнувшись прохладой век.

Где же в граде у вас фонтан?
Я брошу монетку, чтоб
вновь сюда не прийти за тем,
за чем не пришёл теперь.

Наклонюсь, зачерпну воды
ладонью, в которой медь
так пригрелась, что в ней — следы,
похожие на строку.



Душа, ты улица, ведущая к дождю
с окраин, сохнущих листвою:
чем ближе к площади центральной, тем влажней,
а я — брусчатка, скользота.

Где в плотно сбитые булыжники вода
бессильно бьётся, словно дробь
полка поверженных, там прячется трава
и листья прошлых, тёплых лет.

Шаги затихшие не потревожат нас:
нервозный бег пролился весь
и скрылся в пригород — теперь мы здесь одни.
Я чувствую подспудный рост.

Он расправляется среди камней и ждёт
прихода первого луча;
тогда схватившийся за солнце стебелёк
взрастёт в тебя, в безлюдный гул.



Если сердце — низовье речи,
вытекающей в мрак человеческий,
пусть я стану не мель, но брод —
пусть поверивший перейдёт.

Он стоял на словах о Боге —
отчего-то промокли ноги:
отсыревшая голова
не сдержала любви слова́.

Как смыкаются речью губы!
Поцелуй есть молчание, зубы
заломивший, как холод дна:
много волн, а река — одна.

Далеко и нельзя — до моря,
утопающего в разговоре;
нужен берег, и берег — вот:
замолчавший спасенье рот.



Где свет меж знаками письма
протиснулся, став сквозняком,
там лист бумажный, падая, подхвачен
и брошен вверх.

На нём не помыслы, но тот,
кто в музыку руками вжат,
как в пианино клавиши вжимают —
и длится звук.

Он жив под пальцами, и ты
не отпускай — держи, держи,
пока в коробке деревянной звуки
не стихнут все.

Но и тогда приучен слух
продлять последний звук, в каком
всё считанное музыкой сольётся
в единый свет.



Теплом ладони по глазам,
как ветви, хлещущие бег,
отведены все помыслы, какими
незряч бегущий человек.

Теперь смотри — он больше, чем
та тьма в боящихся глазах,
хотя она бескрайна и прекрасна,
как путь, блуждающий в азах.

Где в зрение войдёт тепло
ручное, но без языка,
оно сбежит щеками, если страшно
иль радостно ему стоять.

Но нет, теплу навеки жить
и через взгляд идти туда,
где нет ни буквы, ни, конечно, духа
не двигаясь, смотреть наверх.



Встав на колени перед водой,
ощути подводную ломоту —
льнёт, словно рыба, страх позабыв,
к суставам рук.

Где-то в груди кольнёт плавником:
он острее от вдоха, ведь воздух здесь —
камень, которым можно точить
любую тень.

Бьётся, надеясь пути порвать —
но крепка сосудистой сетью жизнь:
видно, навечно ты угодил
в садок себя.

Всяким добром богата река,
но тебе едва ли в неё смотреть —
застит глаза серебряный блеск,
текущий прочь.

Содержание

В слёзоньках мусор, а кто нам... .. 5

ЭТА РАДОСТЬ — ВТОРАЯ

Кто ни зажимал тебя, свирель, пытая... .. 8

В рождение завёрнутая посылка... .. 9

Против часовой вывинчивает свет... .. 10

Чего твой внутренний взор достиг... .. 11

Прошлая зима здесь. Где?... .. 12

До горла птицы не доходит тень... .. 13

Птица ходит по крыше чердака... .. 14

И птицы — теплокровные части высоты... .. 15

Боже царя облачён в парчу... .. 16

С листиков слизывать вдохом... .. 18

Как ты входишь в сталь, даже не глядя на... .. 19

Поднимаешь к солнцу ладонь... .. 20

ТЕМНОТА БЕЛА

Кто слово протянет, возьмёт метель... .. 22

Взгляд из окна набирает предметы... .. 23

Даже в людях война видит стены... .. 24

Снова встанет на углу тебя... .. 25

Поднявшись на цыпочки — так, что макушка... .. 26

Сияющий час изъят окном... .. 27

Полк покидает наши места... .. 28

В обитель умыслов не вхожи... .. 29

У предметов срезано осязание... .. 30

УШНОЕ ДРЕВО

Второе Подражание Американцам .. 32

Мне было трудно дышать... .. 33

Монетку со дна ведра...	34
Расстояние до тебя...	35
Не подлежать замене на свет...	36
Заточено дорожными камнями...	37
Победа щурится, не смотрит на тебя...	38
Вбиранием смутных ветвей...	39
Райнер, ушное древо...	40

ГДЕ СВЯЗЬ

Меточкой недогрева...	42
Нужное ничто засекать, согрев...	43
Из цикла «Кто верит»	44
Качели	45
Опаска излечиться от нации дотла...	46
Продольный свет, как срез, блестит...	47
Не свет от фонарей, а другая дорога...	48
Именем Райнера заклятый насмешник мой...	49
Прекословь ослице, везущей воду реки...	50

НАУКА ДВИЖЕНИЯ ВОЛН

Рекой теменной, впадающей в море меня...	52
Прошу — покажи мне душу...	53
Это опять по вёслам стекает вода...	54
Весенней площадью неуязвим и цел...	55
Стану слушать, себе дивясь...	56
Душа, ты улица, ведущая к дождю...	57
Если сердце — низовье речи...	58
Где свет меж знаками письма...	59
Теплом ладони по глазам...	60
Встав на колени перед водой...	61

«ПОКОЛЕНИЕ»

Дина Гатина.
ПО КОЧКАМ

Ксения Маренникова.
RECEIVED FILES

Михаил Котов.
УТОЧНЁННЫЕ ЛАСКИ

Татьяна Мосеева.
СНЕЖНЫЕ ЛЮДИ

Юлия Идлис.
ВОЗДУХ, ВОДА

Пётр Попов.
ЖЕСТЬ

Илья Кригер.
ИНТРОСПЕКЦИЯ

Анастасия Афанасьева.
БЕДНЫЕ БЕЛЫЕ ЛЮДИ

Наталья Ключарёва.
БЕЛЫЕ ПИОНЕРЫ

Павел Гольдин.
УШАСТЫХ ЗОЛУШЕК СТАЯ

Марианна Гейде.
СЛИЗНИ ГАРРОТЫ

Вадим Кейлин.
ЯБЛОЧНЫЙ SPACE

Андрей Гришаев.
ШМЕЛЬ

Настя Денисова.
НИЧЕГО НЕТ

Анна Русс.
МАРЕЖЬ

Данил Файзов.
ПЕРЕВОДНЫЕ КАРТИНКИ

Тимофей Дунченко.
КАПКАНЫ ДИВНОЙ КРАСОТЫ

Тарас Трофимов.
ПРОДАВЕЦ ПОЧЕК

Анастасия Романова.
БОЛЬШОЙ СОБЛАЗН

Денис Сюкосов.
ЭТО ЧТО

Алла Горбунова.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ, МАТЬ АДА

Василий Бородин.
ЛУЧ. ПАРУС

Валерий Леденёв.
ЗАПАХ ПОЛИГРАФИИ

Антон Очиров.
ЛАСТИКИ

Мария Ботева.
ЗАВТРА К СЕМИ УТРА

Мария Ташова.
ВСЕ РЫБЫ

Александр Авербух.
ВСТРЕЧНЫЙ СВЕТ

Алексей Порвин.
ТЕМНОТА БЕЛА

ЗАКАЗ КНИГ ПО ПОЧТЕ
(современная русская поэзия)
<http://www.vavilon.ru/order/>

Подписано в печать 21.04.2009. Усл.печ.л. 1,94
Гарнитура Футура. Формат 70х90/32. Тираж 500 экз.
Изд-во АРГО-РИСК 117648 Москва, Сев.Чертаново, 8-833-218.
Типография Россельхозакадемии. Москва, ул.Ягодная, 15. Заказ .